

Эшелон с новобранцами на запад шёл ходко, встречные и посторонившиеся приветствовали его длинными жалобными гудками. Ты лежал на средней полке, мешок с подорожниками под головой, водку и самогон с ребятами не пил, отец, когда сам на фронт уходил, знал, что тебя тоже призовут, не велел выпивать: пьяный человек не смелый, это только кажется, он осторожность теряет и делается беззаботным. Такого сразу словят снайперы, если затишье, или пулемётом срежут в атаке. Тут тебе думалось хорошо. Вот попал в школу связистов, телефоны, кабели, узлы-скрутки. Это значит, бегать тебе по России, искать порывы в проводах, скручивать, иначе командиры такой разнос устроят! И под дождём, и под обстрелом, а всего тошней через минное поле. Это говорили те, кто уже успел хлебнуть и возвращался на войну по второму кругу. Пару раз показали вам класс дивизионного узла связи, вот тут красота, тепло, прежде всего, чисто, и от войны чуть в стороне. Но командир группы успокоил: это не для вас, на узлы связи специально девушек готовят, во-первых, непустишь их в чистое поле, жалко, а во-вторых, каждому командиру при штабе охота иметь несколько красивых девушек.

Взводом связи командовал лейтенант Есмуканов, красивый молодой казах. Тебя вызвал первым, проверил документы, задал несколько вопросов. Спросил:

– Ты на линии когда-нибудь был?

– Нет, не бывал.

– Тогда сходишь на порыв несколько раз с кем-то из взвода, посмотришь. Ты откуда родом?

– Из-под Ишима, деревня Афонина.

– Так мы с тобой земляки, я из Петропавловска.

Ты обрадовался: знаю такой, только не бывал.

– После войны приезжай, я тебя маханом угощу и бешбармаком.

– Бешбармак я ел. За шишкой кедровой ездили к татарам, там угощали. И девчонки у них шибко красивые.

– Эх, Акимушкин, дорогой ты мой, нет на свете красивее наших казашек, когда они лучшие наряды наденут, когда танцевать пойдут. – И засмеялся. – Русские девушки тоже красивые, правда?

– Я на русской женился, а ту татарочку до сих пор помню. Поди, уж взамуж выдали, она сирота, только с отцом жили, их три сестры.

Лейтенант расстегнул воротничок гимнастерки, вытер затекшую шею.

– Запомни, солдат, разговоры о женщинах расслабляют воина, а связист всегда должен быть на чеку. Ладно, сегодня устраивайся, отдыхай, завтра скажу старшине, чтобы тебя сводили на линию.

Так и начал привыкать; сперва вдвоем ходили, потом одного отправили, велели точно определить причину повреждения. Ты шёл кустами вдоль провода на снегу и вспоминал: осколочное или пулевое попадание, порыв животным, упавшим деревом, зверь может перегрызть, даже мышь, но страшнее всего, если кабель перерезан ножом и унесён. Приходит разведчик, подключится к линии, послушает, какое она имеет значение, разрежет и на себя смотает с километр. Вот тогда беда. Надо второй конец найти, а это верная встреча с диверсантом или разведчиком. В таких случаях, в основном, и гибли ребята. Порыв найдет, подключится, сообщит своим, что пошёл конец искать, и всё. С той стороны тоже связистов отправляют, бывало, что и оба потерялись, зарежут и снегом забросают. А командование связь требует. Тоже служба не из веселых. А ты ещё думать любил на ходу, вспоминать приятное. Пришлось отвыкать, и глаз всё видит, и уши слышат. Нашёл порыв, надставил запасным кабелем, и домой.

Дело к весне шло, хотя ночами такие холода заворачивали, что в Сибири проще крещенские перенести, чем эту морозную сырость. А тут на вашем участке фашист начал постреливать из орудий и минометов. Ребята удивляются: ничего в нашем направлении для противника интересного нет, и чего он диканится – не понятно. А он третий день то мины покидает, то из орудия подолбит. Ребята уж привыкать начали, а связистам беда, рвёт связь, сволочь, то прямое попадание, то дерево свалится. В ночь и в полночь поднимают:

– Акимушкин, нет связи с третьим батальоном.

Только там скрутил – порыв на линии связи со штабом дивизии. Взводный сам проводил с километр, предупредил, чтобы аккуратней, дивизия всё-таки. Где бегом с проводом в руках, где ползком, если что-то почудилось, добрался до порыва. Так и есть, осколком снаряда срезало. Зачистил концы, скрутил провод, подключил свой аппарат.

– «Орёл», «Орёл», ответь «Синице», ало!

– «Синица», я «Орёл», связь принята, – ответил приятный девичий голос.

– Какой ты орёл, милая, ты синичка и есть. Шлю тебе привет из глубокого сугроба.

– Спасибо, только за нештатные разговоры «синичке» хвостик вытеребят.

– Какая беда? Кто нас слышит? Тебя как зовут?

– Айгуль.

– Красивое имя. Я знал одну девушку, её так звали...

– Всё, связь принята.

И отключилась.

Ты понял, что кто-то из начальства подошёл. Погрустил, вспомнил татарочку Ляйсан, самую лучшую ночь в жизни, отзвонил своим, что связь налажена и подался обратным следом в сторону расположения.

Когда отоспался, пошёл к командиру, спросил про имя Айгуль.

– Откуда ты его взял? – улыбнулся командир. – Мою невесту так зовут, приедешь, познакомлю.

Рассказал про телефонный разговор, про своих знакомых татарочек, одна из которых – Айгуль.

Не та ли знакомая?

Командир тебя огорчил:

– Ты знаешь, Акимушкин, Айгуль у тюркских народов очень распространенное имя, как Маша у вас, так что она может быть из Киргизии, из Казахстана, даже из Азербайджана с Башкирией. Ты же знаешь, что все народы поднялись на защиту Отечества.

Ты вздохнул:

– Жалко, а я уж было подумал, что это наша Айгуль.

Командир обнял солдата:

– Все они наши, Акимушкин.

Три дня прошли, как обычно, а утром прибежал дежурный телефонист:

– Акимушкин, пропала связь со штабом дивизии, а комдив как раз говорил с нашим комбатом.

Ты эту линию знаешь, давай поскорей. Комбата я на штаб вывел через второй батальон, но прямую обеспечить. Да, они крикнули, что тоже выслали связиста.

Ты осторожно шёл на лыжах по неглубокому снегу, то и дело выдёргивая из-под наста кабель связи. Яркое солнце светило в спину и согревало. Тянуло в дрёму, но нельзя, если порыв на нашей половине, а найдет ихний связист, ославят на всю дивизию. Такие случаи были. К обеду прошагал километров пять, всё нормально. В лесу впереди мелькнул человек, ты присел, посмотрел в бинокль – никого. Надо осторожно; если фашист, то на полянке он тебя шлёпнет без горя. Ждать? А если он тоже залёг? Так и будем лежать до потёмок? А связь? Комбат спасибо не скажет. Но фигура мелькнула ещё раз, и солдатик наш русский, советский, выкатился на поляну. Ты из укрытия крикнул:

– Стой! Кто такой?

– Рядовая роты связи Тайшенова.

– Ты не Айгуль, случайно?

– Нет. А ты как знаешь Айгуль?

– По телефону с ней говорил, когда связь дал.

– Ты на порыв идешь?

– Иду. А вот и конец моего провода.

– И я своей нашла, уже нарастила, сейчас скрутим.

Он вышел из укрытия, она тоже пошла навстречу. Ты так и не вспомнишь, о чём думал в ту минуту. Наверно, о чём-то радостном, душевном, что вот и связь нашлась, сейчас доложим, как положено, поговорим. Подошли близко, она первая остановилась, ты это увидел и поднял глаза. Перед тобой стояла Ляйсан. Ты не мог в это поверить, да и откуда здесь, посреди войны, появилась эта тоненькая татарочка с длинными косами и весёлыми узкими глазами в потрёпанной одежде солдата, в шапке, с автоматом за спиной? Ты даже подумал, что надо постоять, и это пройдет. Но голос, голос не дал тебе на это время:

– Лавруша, Лаврик, это ты?

– Я. А ты, Ляйсан, как тут оказалась?

– Лаврик, сладкий, родной мой!

Она обняла его, они неуклюжи были с аппаратами связи, с мотками провода, с оружием. Всё побросали на снег, целовали друг друга и плакали от счастья. Ляйсан вперёд одумалась:

– Лаврик, связь!

Быстро зачистили провода, соединили их, доложили каждый своему начальству и снова обнялись.

– Ты как попала на фронт?

Ляйсан повела его к лесу, присели на упавшую берёзу.

– Я всё тебя ждала, думала, вспомнишь свою татарочку, а потом Филя твой с друзьями к нам приезжал гулеванить, он и сказал, что ты женился. Я так плакала, так горевала. Потом война началась. Отец говорил, что война пришла на нашу землю, надо воевать, братья сразу ушли, а потом отец поехал в район, договорился, и нас, трёх сестёр, отправили в одну команду – так отец просил. Мы с сентября служим; и Айгуль, и Калима, и я.

Что-то тебя кольнуло, знал ты про положение девчонок при штабах.

– Ляйсан, милая, помогают до тебя офицеры?

– Нет, сладкий мой, я верна тебе. Когда мы в расположение прибыли, я пошла в санчасть, золотой перстень татарский старинный врачу положила на стол и попросила, чтобы он пометку сделал в моих документах, что..., ну, вроде есть у меня болезнь, и мужикам лучше подальше держаться.

– Да как же ты догадалась до такого?

– А что делать? Нас ещё в школе предупредили, что судьба у всех одна. Вот я и придумала. А сёстры... Их большие командиры к себе взяли, они легко служат, а я вот на линии.

Ты обнял её, называл милой и дорогой, умницей называл, целовал в холодные губы. Она смеялась красиво и весело, как тогда.

– Я попрошу Айгуль, чтобы она вызвала тебя на узел связи штаба. Я так хочу тебя всего обнять, Лавруша, чтоб ты весь был мой, без остатка. Женой хочу тебе стать, женщиной. На войне всё по-другому видишь, и любовь к тебе я тоже вижу совсем другую, и дети у нас будут, много детей, и дом, и кони добрые. Я тебя буду на руках носить, потому что ты ребенок, а я в тайге выросла, я сильная.

Простились и разошлись в разные стороны. Не успел ты и трех километров пройти, как с нашей стороны началась сильная артиллерийская стрельба, похожая на артподготовку, и навстречу тебе выскочил лейтенант Есмуканов:

– Акимушкин, возвращайся, опять связи нет, а через час атака. Комбат под трибунал грозил сдать, если связь с дивизией не восстановим. Их связиста тоже должны вернуть. Действуй!

Ты побежал обратно, даже обрадовался, что ещё раз увидишь Ляйсан, скоро выскочил на знакомую поляну, пробежал редкий лес, извороченный взрывами, выскочил на опушку и увидел Ляйсан. Это точно она, но почему она лежит? Сбросил с себя провода и автомат, упал перед ней на колени, хотел повернуть на спину, но всё её тело смялось, истерзанное осколками – вот и свежая воронка рядом. Посиневшие маленькие ручки у самого онемевшего рта, застывшие, окровавленные, и провода оголённые – задубевшую изоляцию белоснежными зубками срывала она с проводов – так в руках и остались. Видно, не хватило сил, поняла девочка, что умирает, и стиснула провода в зубах, сжатых предсмертной судорогой. Боже, как ты кричал, как проклинал всех, кто начал эту войну, кто послал сюда эту девочку, кто направил в её сторону последний снаряд. Чуть придя в себя, вынул изо рта Ляйсан концы проводов, скрутил их и подключил аппарат:

– Ало, узел, связь восстановлена.

– Кто там вмешался? Алло! Кто на линии? Не мешайте, я уже полчаса пользуюсь связью.

Ты волком раненым взвыл, зверем диким, нечеловеком. Светлая Ляйсан, через твои тонкие и сладкие губы, через зубки твои жемчужные, через чистое непорочное твоё тело отдавались команды, летели матерки, угрозы, обещания наград и расстрелов. Вытирал лицо Ляйсан горячим снегом, целовал её ледяные губы. Милая, сладкая девочка, разве для того ты была создана, чтобы в последние минуты жизни дать связь какому-то штабу, пусть даже столь высокому и для очень важного стратегического разговора? Какое тебе дело до них, Ляйсан, будь они все прокляты! Белым стало, как у невесты на честной свадьбе, твое смуглое татарское личико, всю кровь свою ты отдала русской матушке – сырой земле, себе не оставила ни капли. Ты не помнишь, сколько сидел около Ляйсан, потом поднял её на руки, снова опустил, снял с неё бушлат, валенки, чтобы легче было нести, и пошёл к своим. Тебя встретили забеспокоившиеся ребята, переняли скорбный груз и доставили в батальон.

Тебя в горячке увели в медсанбат, из дивизии на подводе приехали ребята, забрали тело девочки и сказали, что прошёл слух – к большой награде представят погибшую.

В медсанбате уколы ставили, давали снотворное, разные сны тебе виделись, больше всё счастливые, радостные, с любовью, со смехом. Мать говорила, что нельзя во сне смеяться, это к горю. Ты просыпался, вспоминал мамины предосторожности и понимал, что большего горя, чем сегодняшнее, от которого болит только душа и ничто больше, у тебя уже не будет. Раза два приходил доктор, суровый, чёрный и кудрявый, как чёрт, давил на брюхо, крутил голову, велел приседать. Ты всё делал исправно – тебе всё равно.

– Я вас хочу спросить, молодой человек: не стыдно протирать простыни в санчасти, когда на фронте героически гибнут молодые девушки? Вот недавно героически замёрзла в снегах представитель славного татарского народа..., как её, забыл фамилию.

– Это Ляйсан, – подсказал ты и пошёл в каптерку спрашивать своё обмундирование. В батальон вернулся после обеда, ребята встретили спокойно, лейтенант Есмуканов подошёл и обнял.

– Вечером будем деревню брать, ты пока полежи в землянке, слаб ещё.

Ты пошёл к старшине и сказал, что лейтенант велел выдать автомат, три диска патронов и гранаты. Старшина выдал. Ты почистил оружие, переделался в чистое бельё. Судя по тому, что до деревни три километра и её ни разу не пытались взять, а сегодня вдруг решились, что-то изменилось, и бой будет серьёзный. Вместе со всеми лежал в окопе и ждал сигнала. Команда была тихой, но конкретной:

– Вперёд!

Стрелять и кричать запрещено, надежда на внезапность. Успели добежать до середины, а там ведь тоже не дурачки сидят. Пустили ракету, вдарили из пулемётов, солдата сразу тянет ближе к матушке-сырой земле, но сзади приказ:

– Не залегать, всех перебьют, брать штурмом.

Стали брать штурмом, значит, бежать, пока добежишь, если не убьют или ранят. Ты бежал в полный рост и не стрелял, потому что не видел цели. А вот обозначился пулемёт, брызжет в темноте коротким рыжим огнём. Ты привстал на колени, прицелился и дал очередь. Пулемёт замолк, ты

опять побежал. Уже заметались человеческие фигурки в просветах между домами, да тут ещё наши пушкари ударили зажигательными, пожар осветил немцев, деваться им некуда. Только это уже не воюки, это солдатики команды ждут к отходу. Ты выскочил на бугор, кто-то крикнул:

– Лаврик, падай, ты охерел – во весь рост!

А ты бежал, и дыханье не сбилось, и руки не дрожат. Стрелял в каждого, даже в тех, кто руки поднял, стрелял метко, зло, без промахов, ещё два диска у своих убитых выхватил. И когда из-за сарая трое наших вывели до десятка фашистов, ты поднял руку с гранатой и крикнул своим:

– Ложись, братцы, Богом прошу!

Гранату невзведённую откинул, а по толпе полоснул слева направо и обратно. Подбежал, своих перепуганных увидел:

– Вы бы, ребята, бежали вперёд, там сейчас медали будут раздавать.

И тут же тремя выстрелами добил раненых фашистов. Бросил автомат, сел на снег и заплакал:

– По тебе, сладкая моя татарочка, устроил я поминки. И дальше буду бить гадов, где только увижу.

Подбежал лейтенант Есмуканов:

– Акимушкин, я тебе велел в землянке сидеть!

– Всё, командир, отсидел я в землянке и по проводам, как кобель на цепи, больше бегать не буду.

В штурмовую роту пойду, давить буду их, как клопов. Спасибо тебе, Есмуканов, но больше ты мне не командир.

Ты не знал, только много позже рассказали тебе, чего стоило Есмуканову отбить тебя от особистов. Всё-таки кто-то «стуканул», что ты расстрелял пленных, а статья – есть статья, тем более, если есть желание.

Когда всё улеглось, решило командование тебя прославить. В роту приехал на «виллисе» корреспондент дивизионной газеты, расспрашивал, как ты связистку Тайшенову нашел, как нёс её к своим, а ты не мог говорить. Только сегодня утром, выйдя из землянки, посмотрел ты на чужое, хоть и советское небо – не такие тут звезды, не их вы видели с Ляйсан. Знал уже, что сегодня сорок дней прошло после смерти её, не знал только, есть ли у татар сороковины. Вспомнил молитву «Отче наш», проговорил её тихому небу, попрощался с душой Ляйсан, которая сегодня обретёт отведённое ей место в раю. Это должно быть почётное место, чиста душой и телом, и помыслами пришла к Богу эта девушка. Бог видит её изорванные осколками живот и груди, которые кроме тебя не ласкал никто, а потом велит ангелам исцелить её и провести в самые лучшие места, чтоб похожи были на её родные. И кусочек тайги с кедровыми орехами, и молодой березняк, и низкая луговина трав для вольных коней, которые сами будут подходить к ней и падать на колени, чтобы она села и проехала хоть чуть-чуть.

– Э, товарищ Акимушкин, очнитесь. Расскажите, где вы родились, как работали в колхозе. Эту газету мы направим к вам на родину.

Ты мог бы рассказать ему, что колхоз назывался «Красная поляна», недалеко от Акимушкиных избушек срубили крестовой бригадный дом, там и жили всю посевную и уборочную. Почти как в старые годы. И уже перед войной поставили тебя прицепщиком на плуг к Тольке Брезгину и направили на ваши родовые наделы – пахать. Остановился Толька на обочине, велел заглубить плуг на сколько-то сантиметров, помочился на грязную гусеницу и дал газ. В конце гона ты дёрнул проволоку – это сигнал. Толька остановился. Ты прошёл вдоль борозды, вспомнил слова деда Максима:

– Это твоя борозда на твоей земле. А если на чужого дядю робить, то никакой радости, одна усталость.

– Натолей, вот мы первую борозду проложили, в радость это тебе?

Брезгин затоптал окурок и сплюнул:

– Ты меня за этим остановил? Какая радость, дурак, если нам к утру надо десять гектаров сдать?

– Обожди, я добегу до колодца, водицы зачерпну.

– Нету колодца, мы осенесь туда всю требуху лосиную побросали, чтоб не нашёл никто. Лосей бить запретили, а мы грохнули, он утром на зерно вышел.

Ты пошёл в сторону избушек, Анатолий матерился и грозился списать с плуга, а ты не мог оста-

новиться; так давно не был в родных местах, что до душевной боли захотелось. Избушку, почти домик, кто-то разобрал и увёз, навес и загоны завалились, всё заросло бурьяном. Подошёл Анатолий:

– Вот ты – наглядный пример, Лаврик, как частная собственность делает человека рабом. Что ты сопли распустил: родная земля, первая борозда. Да пропади оно всё пропадом! Мне наряд закроют в гектарах мягкой пахоты, остальное я видел, знаешь, где? Я жилы из себя буду рвать, потому что завтра нас ждёт светлое будущее. Это Маркс так учил.

– Кто такой Маркс? Он пахал и сеял?

Анатолий хохотнул:

– Он, брат, такие семена по миру разбросал, что скоро всем частным капиталистам тошно будет. Вот я, чистый пролетарий, и отец мой никогда этими глупостями не страдал: избушки, колодцы. Он шкуры скупал и киргизам перепродавал. Пил. И я пил, пока за глотку не взяли. Я из этого трактора за весну всё выжму, а осенью мне новый дадут, потому что советская власть об рядовом человеке заботится. Потому я свободный человек, а ты раб.

– Подожди. Отец и дед мои кто были?

– Кулаки, рабы собственности. Всем известно: не Савелий бы Гиричев – рубил бы ты сейчас уголёк на Урале. Ладно, пошли пахать.

Рассказать можно, но он не напишет.

– Акимушкин, а сколько Вы фрицев убили лично? Сейчас рекомендовано вести персональный учёт, для награждения.

Акимушкин посмотрел на паренька: явно городской, из грамотеев, жизни не видел. Сколько убил? Да разве можно вести счет? Да, мы их не звали, они сами пришли, но считать трупы?

– Не могу ответить, товарищ младший политрук. Стреляешь – в кого попадёшь.

Корреспондент статейку всё-таки написал, газета пришла в батальон, на роту дали несколько штук. На фотографии Лаврик был больше похож на колхозного пастуха, если бы не пилотка со звездой. Через три дня его вызвали в штаб дивизии. Кто, зачем – никто не знает, телефонисту передали без дополнительных сведений.

В штабе доложил дежурному, тот куда-то сбежал, потом приказал идти за ним. Перед входом в блиндаж остановился:

– Заходи и доложи по всей форме.

Ты вошел, увидел сидевшего за столом высокого и полного офицера, доложил. Офицер поднял глаза:

– Лаврик, подойди сюда, я в ногу ранен, мне вставать трудно.

Ты испугался и обрадовался:

– Крёстный Савелий Платонович, здравствуй.

Офицер протянул руку.

– Здравствуй, крестник. Но это последний раз, впредь обращайся по званию, при людях, конечно.

Так, что у тебя дома? Как мама, жена, дети?

Что ему ответить, если сам ничего не знает?

– Детей нет, жена и мать живы, тятю убили под Москвой. Братовья воюют где-то, мать адреса дала, только ответов нет.

Офицер кивнул:

– Да, между фронтами письма идут через Москву, долго. Как сам? Говорят, отличился? Орден ещё не получил?

Ты смутился:

– Нет, но воюю, не прячусь.

Крёстный кивнул:

– За это и пригласил тебя, если бы прятался – не стал бы мараться. Меня из района в Свердловск взяли, поучился, направили парторгом на завод, потом обком партии, потом война, вот, политработник. Скажи, Лаврик, у тебя есть ко мне личные просьбы? Только быстро, через пять минут военный совет.

– Есть просьба. На узле связи служат Тайшеновы, мне бы с ними повидаться. Товарищ комиссар, поддержите их, они сестру потеряли, нельзя, чтобы и они погибли.

Савелий Платонович поднял трубку и дал команду прислать к нему в кабинет Тайшеновых, с тру-

дом поднялся, обнял крестника и вышел. Ты сам открыл дверь перед перепуганными девчонками.

– Не бойтесь, мы одни.

Они обнялись и долго стояли молча.

– Айгуль, Калима, мне Ляйсан всё рассказала. Покажите мне её могилку. Я сказал комиссару, чтобы помог вам, если нужно.

Девчонки удивились:

– Ты его знаешь?

– Это мой дядя, крёстный.

– Он суровый, – сказала Калима.

– Нет, справедливый, – поправила Айгуль.

Вы постояли у холмика со звездой на опушке леса. Ты не мог плакать. Девчонки тоже уже всё выплакали. Ты насмелился и спросил:

– Звёздочка – это ничего?

Девчонки кивнули:

– Аллах примет, он знал, что она солдат. Лаврик, она успела сказать тебе, что любила?

– Мы полчаса говорили, потом разошлись, а потом снова встретились, но она была уже...

В батальон тебя привезли на «полуторке», чему все были крайне удивлены.

– Молодец, солдат! – сказал рядовой Гоголадзе. – Туда пешком, обратно на «полуторке». Завтра уедет на «ЗИСе», а вернется на «мерседесе». Молодец!

Хорошо после боя, если остался живой. Ты привык к душевному одиночеству, в тебе уже не было сладких воспоминаний о жене, которые не давали спать в первые месяцы после призыва, ты уже совсем забыл жаркую и бесстыжую Полину, бывшую попадью. Рядом с тобой была только Ляйсан. Не мёртвое изорванное тело помнил ты, не мёрзлые тонкие губы, которые пытался отгореть, пытался вдохнуть в них тепло и жизнь. Ты видел её под той сосной в бору, когда она, чистая и смелая, без стыда разделась перед молодым парнем. В эти минуты ты улетал с земли, находил её в теплых воздушных просторах, вы обнимались, и не было никого в мире счастливее вас.

– Я знаю, Лаврик, ты подумал про меня плохое, грязное, подумал, что все татарки доступны, как молодые жеребушки в косяках, только знай: у каждой кобылицы есть свой жених, и другой не посмеет даже хвоста понюхать. Ты сразу так мне понравился, как родной джигит, которого долго ждала, мы бисера плетём, когда такие думы настигают, под бисера далеко улетишь. А ты пришёл – не джигит, смелости нет, ловкости нет. А почему сразу на сердце пал? В твоих глазах я правду увидела про любовь и про жизнь. Помнишь, как сёстры тебя целовали? Ты не думай, они не распутницы, они от жажды. Когда в тайге вместо знакомого родника находишь оплывшую яму, а потом целый день работаешь под солнцем, тогда бывает жажда.

– Сладкая Ляйсан, не обижай меня подозрениями, вся ночь та была как жизнь. Я тронуть тебя боялся, потому что чистоту видел в тебе такую, какой нет на земле, разве только в небесах у особо отличившихся святых дев. Как я мог к этому прикоснуться? Я всю тебя исцеловал, и руки, и животик, и ножки твои. А потом повернул на живот и спинку целовал во многих местах. Когда нёс тебя к своим, всё думал, что ошибка это, ты не убита, ты спишь у меня на руках до тех пор, пока Господь увидит наши страдания. И тогда вдохнёт в тебя жизнь, даст кровь, поставит на резвые ножки, и побежишь ты по матушке нашей сырой земле. Я вот теперь часто думаю, зачем Бог поделил людей на татар и русских, и веру разную дал? Проверить, наверно, хотел, сумеем мы жить мирно, или заест нас особенность своей нации. Вот возьми фашистов; вообще-то по нации они немцы, будь мы все однаки – не было бы пушек, бомб, войны этой страшной... Иди ко мне ближе, Ляйсан, мне так тепло от тебя.

...Ты просыпался обычно в самые сладкие минуты, когда душевная Ляйсан, прижавшись к тебе, щекотала волосатые подмышки, просыпался от храпа товарища или неловко поставленной кем-то на стол кружки, от далекого выстрела тоже. Тогда лежал, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть сладкое душевное виденье, в реальность которого ты верил без сомнений.

Ты часто стал думать, что, если умереть сейчас, то можно встретить Ляйсан на небесах в райских кущах. Что это за кусты такие, поп никогда не объяснял, но рай расписывал так, как будто бывал там каждую неделю. Вот надо было расспросить его, или сам должен дорогу сыскать, или приведут ан-

гелы дежурные. И затаилась в глубине сердца эта заноза: погибнуть героически и навстречу любимой вывись. Испуг от такой мысли вскоре прошёл, но вера осталась: надо умереть героической смертью, как Ляйсан.

Немецкие танки прорвались на рассвете. Смяли передний край, наши пока пушки разворачивали, а они уж вот, у крыльца. Ты выдернул из-под нар тяжёлый подсумок с гранатами и метнулся вперёд, только прыгающие лучи танковых фар очередями били в лицо. Упал в воронку, выдернул чеку, а он уже рядом, клацает гусеницами. Ты только на мгновение высунулся, и тут же изо всех сил кинул тяжёлую железяку. Свет фар метнулся в сторону, танк затих, потом заговорил несколькими голосами, похожими на наши матерки. Ты не стал себя обнаруживать, пусть их добивают автоматчики, а на тебя уже второй прёт, и скорость такая, что смотреть некогда. Кинул сразу пару гранат, и на дно. Танк кружится на месте, стоны и крики. Потом с нашей стороны, ты это слышал, дали команду встречать танки на подходе. Бежавший к своим на помощь танк остановился, погасил фары. На разные голоса стали звать живых и раненых. Ты высунулся, а он, сволочь, далеко – не докинуть. Пришлось ползти, вгрызаясь в землю. Пару раз стрельнули, но это наудачу, так порядочный солдат не бьёт. Прополз ещё метров двадцать, вокруг стрельба всюю, а у танка возня, своих грузят. Ну, ты и лупанул. Взрыва не видел, оглушённый, упал на родную землю и решил, что всё, погиб рядовой Акимушкин героической смертью.

Из той воронки выволокли тебя ребята, осмотрели: цел, только вид глуповатый, контузило малость. Какой-то офицер подбежал, руку жмёт и обнимать тянется. А Гоголадзе ему три пальца показывает, мол, три танка уничтожил. То ли от пережитого, то ли от страха крутнулась голова, и пал солдат под ноги товарищей.

Новый ротный командир вызвал к себе в землянку и спрашивает прямо:

– Я, боец Акимушкин, человек сугубо гражданский, меня фашист заставил школьную указку поменять на каску, – сказал и улыбнулся: – Стихами уж с тобой заговорил. Ты мне жизнь свою обсуди, чтобы я понять мог, что ты за человек. Ну, давай признаемся, что героизма в тебе не должно быть, парень ты смирный, но воюешь исправно. А ведь Родине ничего больше с тебя не требуется, ты же не маршал Жуков, чтобы каждую минуту решения принимать. Мы с тобой исполнители, сказали – сделали. А ты в одном месте нашумел так, что в дивизии разбирались, потом ещё. Как понимать, что ты творишь, героизм это или хуже того?

– Чего-то не пойму я, товарищ лейтенант, героизм по какой статье в глупость попало?

– А по той, дорогой мой Акимушкин, что раз ты проскочил, второй раз с этими танками, а в третий раз тебя прихлопнут, и всех делов – ещё одна звездочка на дощечку. Тебя что гонит на верную смерть, ты можешь мне признаться, ведь я по годам в отцы тебе гожусь. Я так разумею, что ты после гибели своей подруги решил смерть искать. А нам солдаты нужны. Завтра скажу старшине, чтобы тебе подыскал работёнку попроще.

Козырнул и вышел.

А с утра твоя жизнь круто изменилась; старшина подвёл к повозке, на которой стоял невымытый термос, показал коня, сбрую, выдал продукты для обеда. Вот тогда и появился чернявенький из батальона, вроде как подучить. И началась новая жизнь.

И всё чаще возвращался ты в тот день, когда всё для тебя закончилось: и служба, и редкие разговоры с татарочками, и поиск всё новых сусличных нор для жирного кондера, за который ребята хвалили начинающего повара. Говорливый Гоголадзе, отложив облизанный котелок и благородно икнув, подозвал тебя:

– Акимушкин, ты только живой останься. Я тебя в лучший ресторан Тбилиси устрою шеф-поваром, будешь готовить чахохбили, цыплёнка-табака, тушки перепелов, наштигованных неизвестно чем, но все кушают и хвалят. Тебя будут приглашать знаменитые гости в зал, подносить тебе рог благороднейшего вина. А возможно, – Гоголадзе приподнялся на локте, – возможно, Акимушкин, сам товарищ Сталин зайдёт в этот ресторан, и тогда охрана скажет: «Товарищ Сталин, готовить будет лучший повар Акимушкин». Товарищ Сталин спросит: «Не тот ли это Акимушкин, который один на три танка ходил?». Охрана ответит: «Тот самый, товарищ Сталин!». «Тогда почему у него за этот подвиг только орден Красной Звезды? Замените эту звезду – на Золотую Звезду на колодочке».

Батальон валился от хохота, а ты мыл посуду и собирался готовить ужин.

Вот едешь ты в тот день к батальону, кондёр готов, уже остывает. Душа твоя, видно, во время взрыва выскочила, чтобы не погибнуть, а тело, ну, что, на то оно и брэнное, что ему страдать. Вот только почему ты помнишь себя летящим, да высоко, да в такой благодатной атмосфере, что даже куфайка не шелохнется. И видишь ты с высоты изгибы рек, противотанковые рвы, отдельных солдатиков видишь, летящих рядом, видно, туда же. А потом как будто ударило тебя, хорошо, что к этому времени душа вернулась, а то бы так без черепа и остался. Вот что это было? У кого спросить?

...В деревню добрался потемну, у первого встречного спросил, схоронили Филью или всё ещё дома. Сказали, что вроде яму долбили долго, не должны зарыть. Пошёл домой. Народу почти не было – так, несколько старушенок – Филька лежал посреди горницы на себя не похожий. Мать увидела тебя в комнатных дверях, вскочила, сорвала с ноги пим и бросила тебе в лицо:

– Проклят ты матерью своей, пшёл из дома, и ремки свои заberi, вон, в углу в мешке.

Ты спорить не стал. Понятно, что не по-твоему вышло, не захотели эти люди подход к брату найти, а ведь обещали разговорчивого человека с собой взять. Им бы тебя взять, но там свои порядки. Вот и порешили Фильку. Вышел в улицу: куда пойти? Из родных никто не примет, раз мать проклала. И увиделось тебе окошко, освещённое пламенем из русской печки. Кто тут жил – ты знал, а ведь Фрося единственный на земле человек из твоей жизни. Перелез через жердочки в воротцах, стукнул в дверь – не заперто, вошёл, снял большую шапку, поклонился, поздравствовался.

Мужик, что лежал на кровати, с интересом сел и уставился на гостя. Баба в кути выглянула из-за занавески, потом, было, снова спряталась, но вышла, поклонилась.

– Это, Самуил Яковлевич, мой законный муж, Лаврентий Павлович.

Мужик на кровати аж привстал:

– Даже так?

И тут же засуетился:

– Вы так удачно зашли, Лаврентий Павлович, как нельзя лучше удачно, потому что я утром уезжаю в Житомир, там уже собрались все наши, требуют моё присутствие. Потому квартира освобождается, можете её занимать вместе с законной, так сказать, супругой.

Фрося с клюкой в руке подошла к тебе, дыша свежим тестом и разгорячённым телом:

– Уж ты прости меня, Лаврик, за мою измену. Хошь – в морду ударь, хошь – в ноги паду.

Ты остановил:

– Не надо.

Фрося удивилась?

– А как же? Чо, и бить не будешь?

Ты очнулся.

– Бить не умею, только убивать. А ты не боись. Я к тебе пришёл насовсем. Жить.

Фроська мигом оживилась:

– Тогда так, – скомандовала она. – Последнюю ночь Самуил и на печке перекантуется, а тебя, мой дорогой муженёк, я к стенке положу, чтоб не соскользнул. Ты разболокайся, мне осталось две булки вытащить Самуилу на подорожники.

Когда Фрося утром проснулась, Самуил уже ушёл. В избе долго плескалась, подошла к кровати голая, раздобревшая:

– Лаврик, протри спину до сухоты, а то мёрзнуть буду. Э, нет, ты меня не валяй, мне в совет бежать, это ты лежа на спине деньги получаешь. Пенсию твою я знаю – проживём, у меня жалованье какое-никакое.

Ушла, погасив лампу и напустив полную избу темноты. Ты вроде уже задремал, как вдруг увидел своего ротного командира, убитого в том бою, и тот спрашивает:

– Что же получается, Акимушкин, я на тебя как на человека надеялся, а ты покушать ребятам во время не сумел доставить. Ты накормил роту перед боем или нет?

У тебя сильно закружилась голова, но солдат обязан ответить. Ты до дрожи в теле напрягся, что-бы хоть часть памяти вернулась, просил себя, требовал, умолял: так накормил или нет? Что ответить себе и ротному? Ты вытянулся в кровати и шёпотом доложил:

– Товарищ старший лейтенант, я же приготовил кашу с мясом, и привёз к позиции. А потом...

Потом же вас всех поубило, я один остался.

– Подожди, боец, когда снаряд попал в кухню, тебя в повозке не было. Ты где был? Почему и тебя вместе с нами не убило?

Ты вытянулся и улыбнулся, будто командир мог увидеть твою улыбку:

– Я в это время летал, товарищ старший лейтенант.

– Как летал? – лениво спросил ротный.

– Высоко. Всё видел; и бой, и разрывы, и как наши ребята пролетали рядом со мной.

– Акимушкин, ты мне сказки не рассказывай, ты мне ответь: ребята поели перед боем?

Телёнок за печкой поскользнулся на влажной подстилке и стукнулся на колени. Ты очнулся, голова болела, но ротный исчез.

В обед прибежала Фрося, радостная и покрасневшая с мороза, сказала, что звонил из района новый секретарь райкома Гиричев и просил тебя, Лаврушу Акимушкина, завтра прибыть к десяти часам.

– Фроська, это же крёстный мой, родной дядя!

– Лаврик, миленькой, поезжай, просись, чтоб перевёз нас в район, тут с ума сойти можно?

Ты возмутился:

– Фрося, как можно просить переехать, а кто в колхозе останется? Нет, таких речей ты от меня не жди. А вот зачем я ему потребовался – в том вопрос.

Фрося за ночь перешла шерстяные брюки чеботаря, рубаху поубавила, пиджак подрезала и в спине на четверть вырезала. Ты наблюдал и удивлялся: всё-таки здоровый мужик был этот Самуил.

– Фрось, здоровый мужик был этот Самуил. Что же ты с ним не собралась?

Фроська смачно плюнула на горячий утюг и с ожесточением стала разглаживать свежие швы:

– Лавруша, это штаны у него большие и пинжак широкий.

Она поставила утюг на кирпич и бросилась в распахнутую постель:

– А мужик ты у меня первый и единственный, и лучше не бывает. Я и бабам говорю: вот хоть и по второй группе, а не подумаешь, что инвалид.

Ровно в десять строгая женщина открыла ему высокую дверь в кабинет, и Савелий Платонович, прихрамывая, вышел из-за стола. Обнялись.

– Про горе и позор наш общий знаю, даже сам имел неприятности. Когда у полкового комиссара родной племянник оказывается дезертиром, хорошего мало. Спас Черняховский, он только принял армию и оказался в дивизии, когда дело рассматривалось. Попросил, полистал и разорвал. Вот такой был человек. Со мной побеседовал минут двадцать и забрал в политуправление армии. Как твоё здоровье?

Ты хотел рассказать о странных видениях и снах вперемешку с действительностью, но испугался: если крёстный заставит лечиться, то Ляйсан никогда не вернётся в его сны.

– Военкомат получил несколько путевок на лечение в лучшие госпитали, если есть желание, я могу попросить, да ты и подходишь.

– Нет, крёстный, не поеду. Я тебе объясню, ты умный и грамотный, ты поймешь. Вот есть жизнь, я роблю, хожу, вроде разговариваю, а внутри у меня другая жизнь, светлая, радостная, душа моя говорит с любимыми людьми, мы с ними встречаемся даже. Больше всего достал меня ротный наш командир. Я сам видел, как его разорвало осколками при первом снаряде, а он теперь допытывается, накормил я тогда ребят перед боем или нет. Ты помнишь ту татарочку Ляйсан, не подумай, что у нас что-то было такое, людское. А вот что-то всё-таки случилось, потому что и она меня с первой встречи полюбила, и я её тоже. Так не бывает у людей, я же слышал рассказы: как только добрался до девки – всё, готова. А мы голыми лежали всю ночь рядом, и летали в такие дали, в такую красоту, где рай, и цветы, и кони ходят. Она коней шибко любила. Очнёмся, поцелуемся, обнимемся, и опять летим. Когда на фронте с ней встретились, она мне рассказала, что и без меня летала, как будто я рядом. Вот скажи, дядя, ведь и со мной такое же! Мы так радовались. А потом она погибла. Больше всего мне радости, когда она приходит, сколько счастья не бывает у людей, сколько у меня. Если бы она жива была, Господи! Ты ведь слышал, как она провода закусила?

– Это я знаю. На Тайшенову оформлено представление на звание Героя, но затёрли где-то документы, сейчас по моей просьбе этим занимаются. И вот что ещё хуже: у Тайшеновых все погибли, двое сыновей и три дочери.

– Я знал, видел, но надежда была, что те пули мимо пройдут.

– Это война, сынок. Старика Естая мы отправили в хорошую семью татарскую, он великий человек, мужественно всё пережил. О тебе. В госпиталь ты обязательно поедешь, готовься, это через месяц-полтора. С женой сошёлся? Правильно. Как мать? Знаю, что не общаетесь, но деревня же, всё известно.

– Живёт. Ей за отца пособию платят.

– Да, приедешь домой, передай Анне Ивановне, что Володя и Геннадий живы и здоровы, служат в Венгрии, к весне вернуться.

В плохом настроении вышел ты из райкома, у коновязи заметил старика, сильно похож на Естай. Подошёл, присмотрелся: точно он!

– Здравствуй, дорогой Естай.

Старик вынул изо рта трубку:

– Лицом видел, чай пил, а кто – не помню.

– Лаврик я, до войны приезжали с братом Филькой за шишкой к вам, тогда все познакомились.

– Вот теперь всё на местах. Воевал?

– Воевал. Ранило и комиссовали.

– У меня тоже всех комиссовали, дали бумажки. Я им сынов и дочерей, а мне коробочки с железками. Несправедливо! Но была война, сынок, каждый человек должен встать между войной и родиной, только так спасёмся. Я плачу о детях и горжусь.

– Дядя Естай, мне сказали, что тебя отправили в хороший дом. Ты живёшь там?

– Ушёл. Чужой человек в доме – не гость, не хозяин. Сказал спасибо и ушёл.

– А куда ушёл-то?

– Домой собрался. Ты видел мой дом, там такое богатство, там могила жены, там дети мои ножками пошли по земле. Не могу оставить, вернуться.

– Да как же один-то?

– А ты? Я вижу, что глаза твои горят, как горели они в тот вечер, когда ты с Ляйсан в лес ушёл. Разве не хочешь ты пойти жить со мной и работать там, где она родилась и целовала тебя? Не красней, она сама призналась, просила Аллаха, чтобы благословил её любовь к православному.

Тебя колотила крупная дрожь, ты взмок, сбросил шапку.

– Да я ползком поползу к тому месту, где видел Ляйсан, только возьми. У меня жена есть, к ней съездим, согласится – возьмём, а нет – её воля.

Подъехал татарин в хорошей кошёвке, снял тулуп, обнял старика, пожал твою руку:

– Дорогой Естай, решение твоё для меня закон, говорю по-русски, чтобы товарищ слышал. Весь твой скот, кони, упряжь – всё прибрано и сохранено, как только обживёшь дом, всё пригоним, сена привезём, овса.

– Бейбул, этот парень наш, мне родной, жених был Ляйсан, захотел ко мне жить.

– Как решишь, дорогой. Поехали!

Знакомой дорогой ехали в тайгу, вот тут поворот, тут спуск к реке. Всё как тогда, только девчонки уже не встретят озорным смехом. Лес начал темнеть, первый признак весны. Ты опять увидел тот казан над костром, в котором девчонки готовили мясо, увидел туесок кумыса, поднятый из колодца, увидел губы девчонок в белых каёмочках кумыса – резкого, холодного, хмельного. Почему-то Ляйсан повела тебя к табунку молодняка, жеребята играли, бодая друг друга, тёрлись шеями, обнюхивались. Подожди, такого же не было, не ходили вы к молодняку! А потом одумался: не надо противиться, Ляйсан знает, что надо показать будущему хозяину. И пошёл вслед за ней, только видел, что трава под её босыми ножками не трепещет, не клонится, не мнётся, а радуется, колышется во след, и цветки лесные, скромные, густыми горстями разросшиеся на некошенных палестинах, которые она обошла и не коснулась даже, нежно склоняли перед ней свои головки. Тебе страшновато стало одно время, уж больно похоже на жизнь, ведь хаживал он с Ляйсан, и травы мяли, и цветы видели, но только это не жизнь, это сказка. Знаешь, что нет Ляйсан среди живых, а видишь, любишь её, и она радостная, так и плывёт над землёй. Не скоро ты сообразил, что нету между вами разговора,

хотел спросить Ляйсан, почему она молчит, но собственного голоса не слышал, испугался, хотел закричать громче, но Ляйсан приложила пальчик к губам. Ты заметил, что пальчик чистенький, не израненный, не изуродованный мелким осколком. Ляйсан улыбнулась, ещё раз пальчик к губкам тобой целованным приложила и погрозила. Ты понял, что надо молчать пока, она сама заговорит, когда можно будет.

– Худой сон смотрел, Лаврик? – спросил Естай.

Ты улыбнулся:

– Сон хороший, только непонятный.

Естай вынул трубку:

– Сны Всевышний даёт человеку для размышления. Что видел – обдумывать надо за чашкой чая долго, потом понял, почему. Когда дочерей вижу, долго думаю, ночь, день. Хочу говорить с ними, но молчат, только плачут и жалеют меня.

Ты не удержался:

– Естай, и Ляйсан ты видел?

– Всех дочерей видел, а сынов нет. Батыр не должен нарушать покой отца, это они знают. А девчонки – их Аллах даёт на радость. Горе тому человеку, который лишит отца этой радости.

Ты вылез из тулупа:

– Дядя Естай, Гитлер должен за всё ответить, это он отнял девчонок.

Старик заворочался в своей шубе, покашлял:

– Перед кем ответит? Разве есть на небесах Бог, который примет его как сына своего? Аллах прогонит, Христос близко не пустил за христианскую кровь, Будда не простит преступника. Гитлер будет носиться по пустоте, искупая каждую каплю человеческой крови, русской, татарской, грузинской, еврейской.

– Приехали! – крикнул Бейбул, и Естай заплакал, скинув шубу, вылез из кошёвки и встал на колени перед своим домом, когда-то полным жизни и счастья. Никто не тревожил его, Бейбул жестом остановил тебя, кинувшегося к старику.

– Он молится, не мешай.

Потом пошли в дом, разожгли большую печь, перенесли из кошёвки мешки с продуктами, Бейбул подал тебе карабин:

– Будешь на охоту ходить, лося едва ли возьмёшь, а козочек постреляешь. Татарин не умеет жить без мяса, это вы, русские, способны на картошке прозимовать, – усмехнулся Бейбул. Тебе это не понравилось:

– Зачем ты так о русских? Ты на фронте был?

Бейбул улыбнулся:

– Не спрашивай, если не хочешь знать лишнего. Не был. И Естай не одобрял, когда он всех детей на гибель отправил. Это ваша война, ваша власть её затеяла. Почему татарин, который уже столько веков не воюет, должен умирать за чужую власть? Вот это воистину наша земля, после Ермака наши князья выкупили её и жили по своим законам. И дали клятву не воевать. Зачем я нарушу эту клятву предков?

Тебя затрясло, мысли путались в голове, но ты поймал главную:

– Ты не джигит, Бейбул, ты спрятался за тоненькие тела девчонок, они сгорели, а ты греешься у того костра.

Бейбул удивился:

– Ты посмотри, с виду дурак дураком, а как красиво судит. Ладно, Лаврик, обижать тебя не буду, только больше об этом не говори. Власти знают про меня всё, у меня друзья от Тюмени до Омска, так что забудь.

На второй день поправляли загоны, завалившиеся без хозяина, а потом поехали за сеном. Три воза лесного, духмяного, мелколистного сена, такого, хоть чай заваривай. Дед Максим так и делал на сенокосе, выбирал из рядков цветочки, былинки, мелко рвал руками, потому что железу никак нельзя к этому прикасаться, и заваривал в маленьком котелке. Ты прямо сейчас поймал этот запах, задохнулся, и слеза пробилась: как славно было житьё, как спокойно и ровно. Разом всё изломалось, никто и не понял, как.

Собравшись домой, Бейбул подошёл к тебе крепким шагом:

– Не сердись на меня, Лаврик. Если обидел – прости, я среди русских рос, а про войну – особый случай. Я не воевал, но это не значит, что прятался. Другие задачи были. А говорил так – тебя дразнил. Прости, брат.

Ты ухватился:

– Бейбул, какие задачи, скажи, чтобы я знал, а то мучиться буду, думать.

Бейбул усмехнулся:

– Я занимался формированием татарских воинских соединений. Тебя это устраивает?

– Ладно, ты приезжай к нам, старику скучно будет.

Бейбул засмеялся:

– Я ему завтра скот к вечеру пригоню, не сам, мои люди, так что скучать некогда. Прощай, Лаврик.

– Прощай, Бейбул.

В ту ночь ты долго не спал, ворочался в жарко натопленном доме на огромной перине, Естай сказал, что на ней девчонки спали. И правда, ты принюхался и принял запах Ляйсан, так пахли её волосы, её подмышки, когда вы миловались на кошке под соснами. Запах становился всё сильнее, сжимал горло, потом стало легко, и ты понял, что вырвался из объятий перины и поднялся над аулом. Только в кальсонах и рубахе, а тепло, и воздух тёплый, и звуки тёплые. Ты знал, что увидишь Ляйсан, она прилетит к тебе, чтобы обнять, улыбаться, помолчать. Тебе вдруг показалось, что сегодня Ляйсан скажет тебе что-нибудь, нельзя же всё время молчать. И ведь тебе хочется столько ласковых слов сказать этой маленькой девочке. Ты уже всю её незаметно осмотрел, нет нигде и следов ранений, чистая летающая девочка.

Они прилетели все три, в просторных белых балахонах, с распущенными чёрными волосами, обняли тебя и тихонько сказали:

– Здравствуй, Лаврик, здравствуй, наш родной.

Ты обрадовался и засмеялся:

– Девчонки, дорогие, как я рад, что вы пришли все вместе. Я знал, что сегодня будет что-то особое. Знал, что будем говорить с Ляйсан.

– Будем, любимый, и сёстры знают, о чём. Ты тоскуешь на земле, но пока нельзя сюда, это мы узнали. Ты будешь жить с отцом, ничего не говори ему про нас, всё, что надо, он знает. Привези сюда свою жену. Я не ревную любимый, у настоящего татарина может быть много жён, и любить он их может, как его душа хочет. Привези. А потом мы встретимся, и ты всё расскажешь.

Ляйсан поцеловала тебя в губы, и ты вдруг вспомнил кровавой холод её разорванного рта и жемчужные зубки в страшном обрамлении. Проснулся в холодном поту, встал с постели, увидел стоящего на коленях Естай, он освещён был луной, глядевшей в окошко.

– Подойди сюда, сын мой, – позвал старик. – Встань со мной рядом, я молюсь перед Аллахом за души своих детей, Аллах говорит мне, что их души чисты и непорочны, они в раю. Молись и ты своему Христу, пусть он проследит, чтобы никто не нарушил покой моих девочек.

Ты сказал тихо:

– Я молюсь... Дядюшка Естай, можно, я буду звать тебя отцом?

Старик помолчал:

– Называй «Эти», сынок, это и будет отец. Мы с тобой давно породнились, пусть будет так во имя Аллаха!

Ты ещё сомневался, как говорить с Естайем о Фросе, ведь Ляйсан просила не открывать их тайну. Потом насмелился:

– Дорогой Эти, отец мой названный, хочу просить твоего совета. У меня в деревне жена, мы обвенчаны, а живём врозь...

– Это нехорошо, – перебил Естай, – я сегодня хотел дать тебе хорошего коня и отправить в деревню. Привезёшь жену, пусть будет семья, и пусть будут дети. Ляйсан не родила тебе сына, а мне внука, она не будет против, если твоя жена будет спать с тобой в её постели.

Ты заплакал и уткнулся головой в колени названного отца:

– Благослови, Эти, я привезу Фросю.

Ехать пришлось на дрожках, потому что снег растаял, земля размякла, на дороге колёса врезались в песок. В деревне подвернул к избе тётки Савосихи. Та встретила в дверях, испуганно спросила:

– Лаврик, откуда у тебя такая добрая лошадь в дрогах? Говори, не мучай!

Ты не понял, почему она в расстройстве, ответил:

– Живу в татарском ауле рядом с деревней, вот хозяин дал Фросю привезти. Как тут она, не балуется без меня?

Савосиха высморкалась в фартук:

– То у неё спроси, мне делов мало за молодухами подсматривать. У матери не был? Не ходи. Она умом тронулась или как – не пойму, всё по Филе плачет, отца не вспоминает даже. Ребятишек отпустили из армии, дак оне на производство устроились, увильнули от колхоза. Так матери написали. Тоже ревет. А тебя проклинат, чёрных слов откуда только берёт. Ты не ходи. Если за Фроськой приехал, собирай её и долой с глаз.

Подъехал к дому, вожжи примотнул к столбику, стукнул в дверь. Фрося выскочила в одной станице, уж спать собралась, криком взялась:

– Лаврушенька, муж ты мой венчанный, а я уж думала, насовсем бросил меня.

Посадила на скамейку, сняла грязные кожаные казахские сапоги, измазанные в грязи поповские брюки, налила в большой таз тёплой воды, заставила раздеться догола, поставила ногами в таз, и нежно обмыло всё тело. Тебе стало тепло и уютно, как бывает только дома. Сняла с горячей плиты сковородку с жареной картошкой, отрезала кусок хлеба. Села напротив и смотрела, как ты жадно ел: за весь день маковой росинки во рту не было. Потом положила на кровать к стенке, прижалась всем телом и заплакала.

– Лаврушенька, простил ли ты меня или только вид издал? Я места не изберу, всё думаю, что бросишь, а как пропал совсем, так и решила, что из-за меня.

Ты слушал её спокойно, гладил рукой по голове:

– Забудь про то думать, тем паче, что новая жизнь у нас впереди.

И рассказал всё про Естай, про знакомство с ним через Филю, про случайную встречу в районе и неделю жизни в его доме. Про девчонок и Ляйсан решил пока помолчать, минута не та.

– За тобой приехал, собирай свои манатки, избу заколотим, и утричком в дорогу. Там всё хозяйство на старике. И тебе работа будет, коровы есть, кобылы должны скоро ожеребиться, кумыс научишься делать. Там славно, Фрося, и для души покой. Ты поймёшь, ты у меня не глупая.

Ещё ничего не понимая, Фрося соглашалась, чуть свет связала в узлы свои пожитки, больше ничего ты ей брать не велел, всё есть в доме Эти. Выехали уже на свету, люди видели и лошадь, и дрожки, и Фросю, сидящую рядом с мужем. На два дня деревне обсуждать хватит.

В большом доме к приезду молодых Естай сделал перегородку, там осталась широкая низенькая кровать девчонок, на которой ты уже спал, сундук для вещей. Старик вышел навстречу приехавшим, и вы оба встали перед ним на колени.

– Встаньте, дети мои, я принимаю вас как родных, других никого нет. Идите в дом, располагайтесь, а мы, Лаврентий, заколем баранчика по такому случаю.

Мясо старик варил сам, подозвав Фросю: учись, это будет твоя работа. Фрося трепетно снимала пену с кипящего мяса, отодвигала из-под казана большие угли, чтобы убавить жар. Естай сидел рядом, курил трубку, давал советы. Мясо получилось сочное, мягкое и жирное. Старик долго молился, потом сели за стол.

– Фрося, ты, как и Лаврентий, зови меня Эти, что значит отец. Кушайте мясо и благодарите Всевышнего, что он даёт нам такие дары.

Фрося присмирела, после ужина вымыла посуду, постоянно дёргая тебя: где взять воды, куда вылить помой. Когда легли в постель, тебя окатила горячая волна: на постели Ляйсан я рядом с Фросей. Закружилась голова, ты старался не думать об этом, но мозг уже ухватился за эту зацепку и не давал покоя. Фрося придвинулась к нему, спросила:

– Ты чо такой мокрый? Да у тебя жар! Обожди, я принесу холодной воды.

А ты уже провалился в пустоту, которая всегда принимала тебя радостно и почти весело. Но сей-

час навстречу опять вышел убитый в последнем бою ротный и сурово спросил, накормил ты солдат перед смертью или голодными они ушли на тот свет?

– Товарищ командир, меня самого ударило, не могу доложить по правде, кушали ребята или так и ушли, не жравши. Не пытайте вы меня, товарищ старший лейтенант, больше ничего не знаю.

– Ещё скажи мне, Акимушкин, коль ты на белом свете, скажи, одолели наши фашистов, или напрасно приняла нас матушка – сыра земля?

– Одолели, товарищ командир, и всем нашим скажите, что одолели, и земля наша свободная от врагов.

Очнулся, Фрося обтирала твоё тело настоем каких-то трав, сказала, что Эти принёс. Через минуту снова забылся, и опять легко поднялся в тёплую и спокойную пустоту. Ты парил, поднимался и опускался, затаив дыхание и ждал Ляйсан. Она всё в том же просторном балахоне тихонько обняла тебя сзади и поцеловала в шею, как тогда под сосной. Ты хихикнул, так было щекотно.

– Я знаю, что ты привёз свою жену. Лаврик, не думай обо мне, живи земной жизнью. Хочешь, я навсегда уйду из твоих снов?

Ты схватил её за руку:

– Не уходи! Я умру без тебя.

– Тогда успокойся, не думай о духовном, о пустоте этой, о наших полётах. Скоро ожеребится моя любимая кобылица, она жеребушкой была, когда мы на фронт уходили. Жеребёнка назовешь именем брата нашего Газиса. И не думай столько, милый Лаврик, у тебя мозг воспалён, ты так сильно ранен. И я буду прилетать к тебе реже и реже, а потом ты совсем забудешь меня.

Ты сильно кричал, так сильно, что Эти вошёл в комнату и зажёл лампу. Только он мог понять смысл твоих слов, Фрося завернулась в одеяло и ревела.

– Не плачь, дочка, к утру у него всё пройдёт.

Молодая кобылица ожеребилась легко, Эти сделал всё, что полагается и совершил молебен. Повернулся к тебе, ты хоть и слаб, но помогал отцу:

– Лавруша, давай назовём жеребчика Газисом, в память о сыне моём. Ты не против?

Как ты мог быть против, если и Ляйсан просила об этом?

– Нет, Эти, я не против. Я сам хотел просить тебя так назвать малыша.

Старик улыбнулся:

– Вот видишь, как хорошо жить одной семьей.

Когда улеглись спать, Фрося придвинулась к тебе и в самое ухо спросила:

– Лаврик, ты какое имя кричал седни ночью? Я переполохалась, думала, что ты с ума сошёл. Ты меня обнимал и называл Лей... я не разобрала. Кто это?

Ты сел в постели. Настало время всё рассказать Фросе. И ты рассказал. Про длинную осеннюю ночь, когда за орехами уезжали с Филей, про Ляйсан, про их любовь странную, про встречу с Ляйсан на фронте и про её страшную смерть. Рассказал и про сны, в которых Ляйсан сама предложила привезти сюда Фросю. Сказал, что Фрося тебе законная жена, а кто Ляйсан – этого он не знает.

– Ты ревновать станешь? Не вздумай, Ляйсан обидится, а у неё большая сила.

Фрося шмыгнула носом:

– Как не ревновать, Лаврик, ты уж неделю в стороне от меня спишь. Я вот кровать-то располовиню, чтоб поуже да потуже нам было.

– Ничего не делай, это пройдёт.

Надо было нарубить жердей для подновления загона, ты оседлал Карего и верхом поехал в ближайший лес. Голова шумела, ты уже давно старался не думать, мурлыкал песенки, вспоминал дни весёлой молодости. Ты понял, что боишься встречи с Ляйсан, наверное, она не думала, что ты так скоро сбегашь за женой, и обиделась. Боялся встречи и ждал, знал, что важное слово скажет ему любимая татарочка.

Рубил тонкие осинки и берёзки, стаскивал в кучу, чтобы потом можно было на передке от телеги привезти всё ко двору.

– Помогай Бог! – услышал за спиной голос и обернулся. Долго вглядывался в лицо, день ясный и солнечный, чего тут сомневаться: дед Максим! Но дед давно умер, и ты был на его могилке. А дед смотрел прямо и улыбался:

– Испугался, внучок? Не пугайся, я с добром. Матрёна Савосиха тебе тётка родная – ты про то знаешь. Ей тяжело теперь, года, робить не может, а колхоз зачем будет содержать дармоедку? Скажи ей, что под задним правым углом избушки её зарыт горшок, а в нём золотые монеты. Пусть не брезгует, это всё мной нажито. Пушай пойдёт в район и найдёт там зубного врача, не ошибётся, он там один. По одной монете пусть продаёт, а цену он знает. Второе. Фильку ты сдал по недоразумению или нарочно? Ты уговорить его хотел? Совсем не знаешь ты нашей породы. Наши мужики – кремень. Ты тоже наш, но у тебя на душе шкурки нет, как и на голове защиты. Ты со смертью рядом ходишь. Жалко мне тебя, учить бы тебя надо было, большой толк мог получиться, потому что душа – это для всяких наук и творений крайне надо, да пришли эти горлопаны, всё понарушили. Вишь, Лаврик, как сложно мир устроен: они тебе всю жизнь перековеркали, а ты за них свою кровь отдал. Ещё. Жену ты сюда перевёз, а с татарочкой как? Так и будешь бегать с горячей бабы на любовные разговоры с райской девицей? Ты хоть спал с ней? Нет? И в небесах за сиськи не трогал? Плохи твои дела, не болтайся ты, как говно в проруби, выкинь из головы эти небесные побегушки. Съезди в город, там церковь служит, исповедуйся и причастись, а то с ума спрыгнешь. Да, и татарина этого, который вас со стариком привёз, Бейбул прозывается, остерегайся, недобрый человек.

– Напраслина дед Максим, Бейбул старика к себе брал, когда тот совсем один остался.

Дед улыбнулся в бороду:

– Чудной ты, Лаврик, да этого старика с его хозяйством и пенсией за детей погибших любой бы с поцелуями взял, только Бейбул не отдал. А вернуться домой ему дети посоветовали, он ведь тоже с ними говорит, хоть и не летает. Всё, прощай, внук, больше не увидимся. И съезди в деревню, на мою могилку, под крестом земля провалилась, на ноги давит.

Ты хотел ещё что-то сказать, но никого уже не было, и даже трава не примята, там, где дед стоял. Ты перекрестился и начал рубить ближнюю осинку.

Вечером, когда Эти встал на молитву, Фрося позвала Лаврика во двор. Вечер тихий и тёплый, кони хорошо наелись в лесу и отдыхают, корова жуёт свою жвачку, маленький жеребёнок Газис тычется в мамкино вымя, из которого Фрося только что сдоила молоко на кумыс.

– Лаврик, вот что хочу тебе сказать. У тебя в голове все перемешалось, где Ляйсан, где Фроська – не сразу скажешь. Ты спроси старика, пусть он разрешит мне Ляйсан зваться. Тогда и у тебя всё на место встанет.

Ты долго думал, потом сказал:

– Дождусь, когда она сама придёт, у неё спрошу. Знаешь, они там как ангелы, их обижать нельзя.

Фрося испугалась:

– А если она не согласится?

Ты улыбнулся:

– Ты Ляйсан не знаешь, она добрая и любит меня, она согласится.

Он лёг в свой угол постели и думал о предложении Фроси. Чужая она ему стала, как сюда переехали, хоть обратно вези, но даже говорить об этом с отцом Естаем стыдно. Вспомнил, что не запер на засов пригон молодняка, но не пошёл – в сон стало клонить. И Ляйсан по головке гладит, усыпляет:

– Назови свою Фросю моим именем, и тогда всё у нас будет хорошо. И Фрося рядом с тобой, и я с именем моим тоже. Она у тебя умная и добрая, а то, что изменила тебе – забудь. Все женщины изменяют, только про то никто не знает. Мусульманкам это запрещено, а про других я всё вижу. Спи, любимый мой Лаврик.

Ты проснулся рано утром, чуть только светало. Фрося спала, зарывшись в одеяло на другом краю кровати. Ты тихонько подполз к ней, стянул одеяло, в полумраке матово светлело зовущее крепкое женское тело. Ты поцеловал её грудь, вторую, она очнулась, охватила тебя руками, заплакала и спросила сквозь слезы:

– Ты не увезёшь меня в деревню обратно, Лаврик?

– Ляйсан, ты с сегодняшнего дня Ляйсан, любимая моя татарочка.

Это утро им показалось коротким.

Когда сели пить чай, ты встал перед Естаем на колени:

– Дорогой Эти, я виделся сегодня с Ляйсан, и она разрешила Фросе носить её имя. Ты не будешь против этого?

Естай улыбнулся:

– Я знал, дети мои, что этим всё кончится.

Большой двор у Естая, много скота держал он в старые времена, да и при новой власти после обильного достархана районные начальники улыбались:

– Скотину держи, сколько сможешь, никто не обидит налогом, проследим. На махан будем приезжать, имей в виду.

Сколько русский начальник может мяса съесть? Так, больше вина да разговоров. Привечал А в соседнем ауле прошлым летом на выпаса приехали начальники, ходили, считали, а потом говорят:

– Вот что, дорогой, ты скота держишь в пять раз против нормы. Завтра к обеду собери весь скот у стоянки, считать будем и налог начислять.

Тот спрашивает:

– А вы от какой власти представители?

Они отвечают:

– От райфо¹. Слышал про такое?

– Не знаю, татарин в лесу живет, никакой райфы.

На другой день приезжают инспектора – ни скота, ни юрты – ничего нет, а на столбе фанерный обломок приколочен и написано крупными буквами: «До свидания райфа». Стали искать, но татарина в своих вотчинах искать бесполезно, на том и остановились. Долго потом по району об этом рассказывали со смехом.

А теперь совсем скучно стало в большом крытом соломой пригоне, три лошади, две годовалые жеребушки, как девчонки, радуются, когда ты приходишь, мордой тычутся в лицо, в ладонях корочку хлеба ищут. Кобылка Ляйсан скоро должна ожеребиться, приводили ей красивого жениха из деревни, за сто рублей молчаливый татарин разрешил жеребцу подмять кобылку, тот в азарте в двух местах кожу сорвал ей со спины своими копытами. Ты тогда каждый день смазывал раны какой-то вонючей мазью, Эти Естай сам варил её на тихом огне костра. Две коровы, обе доятся, к новой хозяйке привыкли, маленькие телятки пьют молоко, старый Естай велел до трех месяцев всё молоко им отдавать. Сосать – нет, привыкнул, потом беда отучать. Два бычка крутолобых, Естай сказал, что одного благословит государству, ему теперь тяжело, война много отняла людей, и скота мало осталось, а город кушать хочет, и армия тоже, её надо сильно кормить, чтобы второй раз не умирали молодые нерожавшие девчонки. Барашки отдельно стоят, молодняка нынче много, большой табунчик будет к лету.

Ты убирал навоз, складывал его кучкой, чтобы подкопить и потом заехать на санях, сгрузить и вывезти на бугорок. Фрося–Ляйсан облюбовала его под огород.

– Лавруша, как они жили без картошки, без солонины, ни огурчика, ни помидорки? Ты мне весной плуг найди в деревне и этот пригорочек вспаши, а я раздобуду семян, только домой придётся ехать. Заодно и мать повидашь.

Ты огорчился:

– Про мать мне не упоминай, проклятье она не снимет, а без того и близко не подходи. К тетке Матрёне поедем – она выручит.

Голова от дум этих зашумела привычно, кони и коровы стали, как в тумане. Ты присел на толстую жердину яслей, притулился к столбу.

– Устал, брательник?

Ты открыл глаза и удивился: Филя стоит в той же куфайке и в тех же пимах, в чём в милиции лежал.

– Тяжело со скотом возиться? Пристаёшь?

Ты встал, поклонился:

– Здравствуй, брат Филипп. Прощения прошу у тебя, что неволью навёл легионеров. Простишь ты меня?

Филя засмеялся, потрепал по шее стоявшую рядом жеребушку:

¹ Райфо – финансовый отдел исполкома районного совета.

– В чём твоя вина? В том, что родился другим человеком, чем мы, грешные, что соврать не умел, да и теперь, поди, не научился? Вот так и вышло. Я ведь, Лаврик, знал, что после тебя придут ребята, знал, но убить тебя не мог. Хотел, только Господь руку отвёл, так ножик в матрас и воткнулся.

Ты съёжился, не видел и не слышал, что той ночью Филя к тебе с ножом подступался.

– Как тебе там живется, Филя, шибко обижают тебя за грехи твои?

Филя опять улыбнулся:

– Кому обижать-то? Чертей там нет, зря говорят, там какие-то невидимые силы всем распоряжаются. Нас собрали таких, как я, преступников, дают читать книги и учить молитвы.

– А потом что?

Филя пожал плечами:

– Говорят, переведут в другие места. Плохо, Лаврик, что работы не дают, а без дела всякие думы в голову лезут. Я за это время все свои убийства вспомнил, аж самому страшно стало, каким зверем был. Кассиршу одну просто за горло взял и приподнял, позвонок так и хрустнул. И кассиршу эту видел, и всех других убитых, но не близко, а как за стеклом. Политрук тот подходил, которого в воронке застрелил. Он молоденький, совсем парнишка. Все молчат, даже укора в глазах нет. Сроду не ведал, что совестно может быть, а вот видишь, стыжусь, прячусь. Но это ещё не всё. Потом нас сводить будут, как в НКВД, на очные ставки. Вот как это вынести?

Ты сильно удивился Филиным переменам:

– Я тебе ещё тогда советовал думать, через душу пропускать помыслы. Думать, Филя, самое трудное дело, я теперь это по себе знаю. А к покаянью готовься, праведники будут смотреть, есть ли в тебе раскаянье, тогда пустят на суд к Господу.

Филя горько усмехнулся:

– Знал я, Лаврик, что суда не избежать, только не думал, что так высоко потянут меня за дела мои. Ладно, управляйся. Я бы пособил, да отпустили на минутку, а ведь со скотиной мне шибко глянулось возиться. Да, а мать-то простила тебя?

Ты вздохнул:

– Да нет, поди, и не простит.

Филя кивнул:

– Я скажу ей, чтобы простила. С материнским проклятьем тяжко жить. Ладно, прощай, Лаврик.

Ты ещё долго стоял, опершись спиной на столб, понемногу пришёл в себя, вытер рукавом куфайки лицо, унял дрожь. Ты уже привык к неожиданным появлениям покойников, и только одна Ляйсан была желанной, ты радовался, увидев её, и долго потом жил воспоминаниями об этих встречах. Фрося с интересом слушала твои рассказы и не ревновала, хотя, думал ты иногда, должна была ревновать. Приход Фили тебя не то, чтобы испугал, а нехорошо тебе стало, когда его увидел, вроде и не вспоминал последнее время. Хотя порадовался, что Филя стал о душе думать и суда Господня боится.

В обед на паре добрых коней приехал Савелий Платонович, с ним две женщины. Фрося выскочила встречать, потом громко позвала тебя. Ты сено намётывал к вечеру, воткнул вилы, подошёл. Гиричев широко раскинул руки:

– Ну, здравствуй, крестник!

Ты чуть не заплакал от радости:

– Крёстный, родной, я уж думал, что ты совсем забыл про меня.

Гиричев помог женщинам выйти из кошёвки, кивнул Фросе:

– Веди в дом.

Старый Естай вышел со своей половины, поклонился гостю, они обнялись:

– Как здоровье, дорогой Естай? – спросил Савелий Платонович.

– Обожди, подскажу Ляйсан, что надо быстро приготовить.

Секретарь райкома смутился:

– Лаврик, о какой Ляйсан он говорит?

– О моей, крёстный. Фрося моя теперь Ляйсан зовётся, так мы все порешили.

– Все – это кто?

– Сама Ляйсан, перво-наперво, а потом Эти Естай дал согласие. В мире душевном мы тут живём.

Гиричев переглянулся с женщинами:

– Лаврентий, это доктора, приехали из области для консультации наших больных и раненых, я попросил посмотреть тебя. Там твоя половина? Веди докторов, а я пока хозяйке помогу.

Парное мясо барашка варится быстро, когда вы с докторами вышли из спальни, на достархане ароматами исходило горячее мясо, в пиалах дымилась сурпа. Савелий Платонович предупредил докторов:

– Мясо берут руками, вот нож, можно отрезать. Хлеб есть, только к такому столу его не подают. Хотя лучше принеси, Фрося–Ляйсан, гости не привыкли.

Ели торопливо, потому что зимний день короток, а до райцентра два часа езды. Ты встал раньше других, стал собираться проводить гостей, приготовил шубу и сел у дверей. Крёстный спросил докторов:

– Ваши первые впечатления?

– Физически крепок, сердце работает нормально, лёгкие, печень – всё в порядке, – коротко сказала одна.

– Зато голова – это куча проблем, – продолжила вторая. – То, что он рассказывает о своих видениях и встречах с умершими, убитыми, эти разговоры – страшно. Мозг даёт сбои, и сильные. Его надо бы понаблюдать в условиях стационара, но он ни в какую не хочет ехать...

Ты всё слышал и соглашался, что вся беда в голове, и что в больницу не поедешь.

– Я поговорю с ним, – пообещал Савелий Платонович. Он не заметил, что ты сидишь сзади.

– Крёстный, я никуда не поеду. Доктора эти отнимут у меня всё, чем я живу, чем держится моя душа. Иногда понимаю, что умные так не делают, значит, я полоумный, как ругала меня мать, когда я Филю нечаянно сдал органам. А вот Филя простил, приходил ко мне и простил. И Ляйсан согласилась, чтобы жена моя Фрося назвалась её именем. Видите, как всё просто. А если вы нарушите, тогда куда я без них всех? Нет, крёстный, не поеду.

– Ты не ребенок, Лаврик, когда можно было скрутить и отшлёпать. У тебя тяжелейшее ранение, доктора могут и хотят помочь – почему отказываться? Фрося, скажи хоть ты ему.

Фрося всхлипнула:

– Это он, Савелий Платонович, сам хозяин, как скажет, так и будет.

Гиричев крепко обнял тебя и шепнул на ухо:

– Пока я на работе в районе, приезжай, ты же молод ещё, жить надо, детей надо рожать, воспитывать, надо крепким и здоровым быть. Прошу, Лаврик, как сына.

Естай, не проронивший за столом ни слова, пожал секретарю руку:

– Не жди, секретарь, не придет. Я его вижу, он умрёт на пороге дома своей Ляйсан, если силой возьмёшь. Оставь его, пусть будет, как решил Аллах.

– Видишь ли, дорогой Естай, я в Богов не верю, потому думаю, что надо парня лечить.

– Ладно, скажу главное. От этой болезни не лечат. Когда живой любит мертвую и мертвая любит живого – кто сумеет встать между ними? Не ломай ему жизнь, секретарь, пусть будет, как есть.

Женщины уже сели в кошёвку, крёстный ещё раз обнял тебя и сел напротив. Кучер шевельнул вожжи, отдохнувшие лошади пошли крупной рысью.

Ты только встал с постели, умылся и вытирал лицо широким Фросиным рукотертом, концы его были расшиты крестиком, и большие петухи из крестиков украшали их. Естай уже побывал на дворе, обошёл хозяйство. Управляться пойдешь ты, такое условие ты ему сразу поставил, потому что не может такого быть, чтобы старик работал, а молодой на кровати ноги вытягивал.

– Дожили до весны, сын мой, как только вышел – сразу понял: из казахских степей дохнул тёплый ветер.

Ты вслед вышел во двор. Месяц на ущербе спускался, цепляясь за верхушки сосен; лошади в пригоне поднялись, хрумкают сеном, переминаются и чуть приржахивают; коровы ещё лежат, лениво

дожёвывая жвачку, и ждут, когда Фрося–Ляйсан придёт с ведёрками, повесит «летучую мышь»¹, хлопывая по крутым бокам, ласково поднимет, обмоет, оботрёт вымя и примется доить.

До чего же хорошо жить на белом свете! Эти Естай научил Фросю делать мясо по татарским обычаям, научил колбасу заворачивать, коптить большие куски конины с толстым слоем жёлтого сала, печь лепёшки и делать кумыс. Естай хочет внука, ты и сам спрашивал Фросю, почему она не несёт, а Фрося сразу закрывала лицо, стыдилась, а может, неловко ей было сказать, что в тебе семени нет после такого ранения. Фросю ты любишь, только другой любовью, Ляйсан высоко, ты давно уже не видел её. Обидел чем? Да нет, разве мог! Видно, не подошло время.

Зимой со скотом управы много. Надо в стойлах почистить, навоз в кучки собрать, надо воды принести всем из дома, чтобы тёплая, надо сено, с вечера приготовленное, разложить по кормушкам. Падера иногда за ночь так закладёт ворота в пригон, что мокрым станешь от пота, пока отбросаешь снег, а потом надо его и вдоль стенки повыше накидать, чтобы теплее скотине было. Зимой в свою деревню совсем не ездил, сахар, соль, муку, керосин закупали с осени.

Вечерами Фрося–Ляйсан шила на руках, у неё это ловко получалось. Когда она попросила Эти Естай примерить рубаху, тот отказался:

– Зачем мне новая рубаха? Мне скоро к Аллаху уходить, ты шей Лаврику, вам жить.

В тёплом месте у печки устроил ты постель старику, а Фрося сшила широкую занавеску. Ты один раз откинул занавеску, старик сидел на полу, а в коленях красная подушка с наградами дочерей и сынов. Старик перебирал их сухими пальцами и что-то шептал по-татарски. Он не видел тебя, перед ним были его дети. Он не плакал, он рассказывал им свою жизнь и слушал их ответы. Ты опустил ткань и тихонько ушёл к себе.

Вечером управа точно такая же, как и утром, всё сделали вместе с Фросей, она унесла молоко, вернулась, помогла плотнее прикрыть ворота. Ты повесил на пробой большой замок. Фрося ухватила тебя за шею и поцеловала в губы. Ты засмеялся:

– Ты что? Ночи тебе не дожждаться?

Фрося загадочно улыбалась:

– Не хочу ждать, вот захотела, и поцеловала мужа, и никто мне не указ.

– Глупая ты.

Она продолжала играть:

– Пускай глупая, а если обзывать станешь, вовсе ничего не скажу.

– Ладно, не обижайся, я же любя тебя.

Она опять обняла, прижалась к небритой щеке:

– Лаврик, муж мой венчаный, в тягостях я уж третий месяц.

Тебя что-то обожгло внутри, ты вроде испугался новости, мысли не допускал, но понимал, что Ляйсан надо будет об этом говорить, а как она отнесётся?

Фрося потрепала тебя по щекам:

– Лаврик, очнись, тебе тошно?

Ты обнял её, чтобы ещё минуту помолчать.

– Нет, Фрося, это славно, что ты в положении, что ребёночек у нас будет. И Эти Естай обрадуется.

– А Ляйсан? – как в лоб ударила Фрося.

Ты долго молчал, понимал, что так ещё больше сомнений вносишь в сердце жены, но молчал, не знал, как сказать, что ты веришь, даже знаешь, что Ляйсан благословит вашего ребенка.

– Не спрашивай меня, Фрося, зачем обманывать? Встречу Ляйсан, всё скажу, и она будет радоваться вместе с нами.

Когда сели ужинать, ты поклонился Естаю:

– Дорогой Эти, наш Бог и твой Аллах услышали наши молитвы, Фрося уж третий месяц беременна.

Естай кивнул, посмотрел на Фросю:

– Ты мне дочь, Ляйсан, и я буду ждать твоего ребенка. Если родишь девочку, подарю ей золотые украшения моей покойной жены, если будет джигит, поеду на ярманку и куплю лучшего жеребца. Это моё слово.

Долго пили чай и говорили о завтрашнем дне.

¹ «Летучая мышь» – керосиновый фонарь, использовался в домашнем хозяйстве.

Ты уснул, крепко обняв Фросю. Ты не слышал, как скрипнула дверь, и вышел Естай. Ты не слышал его предсмертного выдоха, но какая-то сила подняла тебя на ноги, ты увидел свет фонарей во дворе и услышал чужой разговор. Откинул занавеску – старика нет. Ты не забыл ещё привычки войны, когда враг рядом, но тебя не видит. Если Естай вышел на шум, его уже связали, чтоб не мешал. Эти люди не могут не знать, что старик не одинок, что ты у него живёшь, значит и хозяйничают со скотом так открыто, потому что один или двое стоят у дверей и ждут тебя. Ты схватил карабин, велел Фросе спрятаться на печи, подкрался к двери и выстрелил дважды. Дикий крик отхабарил дверь, ты выпрыгнул в сторону и видел только огненный плевок ружья. Выстрелил прямо в него и снова крик раненого человека. Фонари погасли. Услышал крик:

– Лаврик, успокойся. Ты меня слышишь? Это Бейбул. Старика больше нет, если хочешь жить, уйди в дом, я оставлю тебе корову. Если узнаю, что сообщил в милицию, зарежу вместе с бабой. Ты понял?

Тебя трясло, но руки сжимали карабин жёстко и уверенно, как на фронте.

– Где Естай, что ты с ним сделал?

– Его зарезал мой человек, мы тебя ждали первым, а ты прообнимался с женой, старик услышал и вышел.

– Я убью тебя, Бейбул.

Бейбул захохотал. Ты выстрелил прямо на хохот, он захлебнулся, а чей-то трусливый голос завопил:

– Бейбула убили, уходим.

Две или три тени метнулись в сторону от пригонов, ты выстрелил, но кто-то всё-таки добрался до подводы и стал нахлестывать лошадей. Ты осторожно подошёл к дверям, приоткрыл их и попросил Фросю выбросить полушубок и шапку. До рассвета просидел в засаде, поджидая налётчиков. Когда совсем развиднелось, поднял тело Эти и занёс в дом. С карабином обошёл двор, перевернул одного – татарин, подошёл ко второму, тот застонал. Ты ногой перевернул его на спину: русский. Тот открыл глаза, протянул руки. Ты нажал на курок. Убитых утащил в сарай и закидал снегом, Бейбула нельзя было узнать, все лицо разбито. Ты ухмыльнулся: стрелять на звук тебя учил снайпер Вася из северных народов.

Поехал в татарскую деревню, нашёл муллу, всё ему рассказал. Через час весь двор заполнили татары, тебя и Фросю отправили на свою половину, молились, разговаривали, мулла позвал тебя.

– Надо коня заколоть, такой обычай. У Естая есть молодые жеребчики, одного укажи, наши люди сделают, как по вере положено. Ты не обижайся, я знаю, что Естай любил тебя как сына, потому надо соблюдать обычай.

Ты вывел из стойла жеребчика-двухлетку и ушёл, чтобы не видеть, как его заколют. Мясо варили прямо во дворе. Ты уже попросил муллу, чтобы отправил он своего человека в район и сообщил в милицию и в райком, крёстный уважал Естая, должен знать его смерть.

Тело Естая закрутили в крашеную кошму, тебе сказали, что иноверцы не могут присутствовать на похоронах, вы с Фросей со стороны поклонились и ушли к себе. После похорон ели мясо и пили сурпу, мулла велел подать на половину молодых поднос с мясом и пиалы с сурпой. Ты плакал, Фрося успокаивала и плакала сама.

Утром приехали три милиционера, старший подал тебе пакет. Это письмо от крёстного. «Гибель Естая Тайшенова – это большая трагедия. Ты приготовься, возможно, заведут уголовное дело на тебя из-за убийства бандитов, но не переживай, это была самооборона, хотя могут и привязаться. Я бы очень хотел повидать тебя, потому что, похоже, больше не встретимся. Я попросил начальника милиции, чтобы расследование завершили скорее, он пообещал. Буду торопить, чтобы закончили при мне. Имею сведения, что есть на меня донос в областные органы, если кому-то захочется, арестуют и расстреляют. Чтобы чужие не знали, пакет опечатал сургучной печатью. Прощай. Береги себя и жену. Твой крёстный отец Савелий Гиричев».

Ты не всё понял сразу, но не за себя испугался, а за дядю, что его могут арестовать. За что? Меня – понятно, три трупа, тут не выкрутишься. Бейбул говорил, что у него кругом друзья, отомстят за его смерть, это уж как пить дать. А Фрося тогда как? Вот ещё беда, пришла, откуда не ждали.

Ты свернул письмо и положил в пакет. Долго смотрел на присохшие крошки сургуча по углам и по центру конверта, оказывается, не ты первый читал это письмо.

В начале июня ты стал выезжать на угодья, где вы с Эти Естаем косили травы, ставили небольшие стога, и по первому снегу вывозили сено на дровнях. И косить, и стоговать сено приходили по заданию муллы молодые парни из деревни, они же помогали вывозить десятки стожков. Иногда в лес брал с собой Фросю, она все тянулась ягодок побрать, клубники, только ты боялся, чтобы ничего с ребёночком не случилось. Когда она домогалась, запрягал в ходок тихую кобылку, оставлял Фросю на ягодной поляне, а сам шёл проверять покосы, как делал дед Максим. На релке между двумя берёзовыми колками высоко поднялась трава. Тут было всего понемногу, ты не знал названия трав, помнил только, что дед Максим называл это всё разнотравьем: «Самое едовое сено, тут и визиль, и клеверок, и чуть полынки для вкуса, а больше похожих на нынешние овсы да пшеницы, прародители, если прямо сказать». Ты присел и с нажимом повёл вокруг себя протянутой рукой, следом посыпались, как кем-то брошены, мелкие семена. Пора косить.

Отбил две «литовки» на случай, если сломается литовище, Фрося собрала корзинку с хлебом печёным, копчёной кониной, зелёным луком и десятком куриных яиц. Стояла у ворот, пока ты скрылся за лесом, и пошла в дом, работы много, а сил не хватает, тянет дитёнок соки.

Помолясь на восток, ты рубаху выпустил из штанов, прикрыл маковку вязаной шапочкой и завёл «литовку» за плечо. Прокос получился широкий, кошенина легла ровно, на стерне высоко, так что скоро продует. Решил не садиться, пока сил хватит, махал и махал «литовкой», и скоро движение стало самостоятельным, не надо было давать себе команду. Валки ложились один к другому, и на краю ручки, когда надо было поправить жало косы, ты остановился, воткнул в землю литовище, вынул из кармана оселок и услышал:

– Обожди, Лаврик, не начинай, у меня к тебе разговор.

Оглянулся, а по кошенине идёт к нему девушка в чёрном платье до пят, босая, волосы распущены, и вроде трава под ней не шелохнёт. Уже ближе, лицо разглядел – красавица, что глаза, что брови, что ротик – всё красиво, только отпугивает эта красота.

– Ты кто такая и откуда взялась в наших местах? – спросил ты.

– Ишь ты, как со мной сурово, Лаврентий, а ведь мы с тобой давно знакомы.

Ты смутился, ещё раз глянул на девушку и улыбнулся:

– Ей-Богу, не помню, где и когда виделись.

Девушка подняла руку:

– Ты про Бога пока не поминай, мы без него обойдёмся. А я тебе расскажу. Первый раз я тебя заметила, когда ты с братом купаться на озеро пришёл, брат нырнул, и ты за ним. Я так обрадовалась, что такой маленький да хорошенький у меня сегодня будет, а крёстный твой перехватил, я тяну тебя в глубину, а он на воздух. Был бы просто дядя, не отдала бы тебя, но крёстный, за ним сила. Помнишь?

Ты ошарашено на неё смотрел:

– Помню, мне тогда пять годов было. А ты-то как там оказалась?

Девушка засмеялась, тряхнув богатыми волосами:

– Потом на войне я тебя увидела, узнала, хоть и много лет прошло. По линиям телефонным за тобой ходила, как ты с иноверкой прощался, тоже смотрела. Я чувствовать не умею и плакать тоже, но если бы людям показать – волосы дыбом.

Ты совсем потерялся, понять ничего не можешь, чем больше она рассказывает, тем всё непонятнее.

– Потом удачно ты подъехал к своим солдатам перед самым обстрелом, вот было дело, я никогда раньше не видела, столько людей разом с жизнью расстаются. Тебя подбросило с телеги и в грязь уронило, а душа выскочила от страха. Вот тут я и ухватила её.

– Кого? – крикнул ты, дрожа от страха.

– Душу твою, Лаврик, душу, ты совсем был покойник, но не могла я совладать – какая-то татарочка за тебя молилась. Бросила я тебя, там урожай был богатый и без моего Лаврика.

– Господи, да кто же ты?

– Опять о Боге! Я же предупредила. Я смерть твою, Лаврик.

– Смерть? – удивился ты. – Да какая же ты смерть? Она страшная, злая, с «литовкой», как я сейчас, а ты молодая и красивая.

– Но ведь я тебе не понравилась, правда?

– Верно говоришь, ты не девушка, ты виденье, в тебе соблазну нет.

Гостя засмеялась:

– Так я и не соблазняю мужчин, Лаврик. А то, что молода – есть и помоложе, есть и старухи. Нас много. А ты думал, что одна смерть столько дел творит в народе? Нет, только тебе на роду написано быть моим.

– Это ладно, – согласился ты. – А как же вы допустили столько гибели на фронте? Самолучших людей забрали. Откуль вам такое распоряжение?

Опять улыбнулась гостя:

– Ты много хочешь знать, Лаврик. Мы между Богом и дьяволом существуем, и никому не подчиняемся, только своей воле, которая нам продиктована старшими. Вот ты мне предназначен, я тебя могу сразу забрать, могу поиграться. Когда брат хотел тебя заколоть, я руку его перехватила. А за то, что влез мне поперёк, отдала его этим легионерам. И когда ночью бандиты к вам во двор ворвались, я не хотела, чтобы ты погиб, и ты остался. Я скажу тебе, почему. Ты у меня такой один, и не умный, и не дурак, прямой и честный и чистый душой, как младенец. Живёшь ты чудно, двух женщин любишь, одну живую, другую мёртвую. И веришь, что встречаешься с татарочкой, веришь, Лаврик?

– Как не верю, если говорю с ней и обнимаю.

– Ой, дурак! Ладно. Коси свои травы, но знай, что я рядом, и как только позову – сразу собирайся. Да, Лаврик, маму твою наши взяли, и тётку твою тоже, за горшком, о котором дед Максим тебе говорил, сам съезди, а то будут разбирать избушку и найдут. Это я к тому, чтобы жена твоя и сын нужды не знали.

– Обожди, ты сказала – сын? Как ты узнала?

Девушка улыбнулась:

– Лаврентий, чистая душа, я про своих людей всё знаю. Отвернись, мне надо уходить.

Ты отвернулся, минутку постоял, глянул на то место, где стояла твоя смерть – никого, и трава не шевелена. Пошёл в тень на опушке колка, прилёг, уснул.

Дома лошадку распряг, зелёную траву с телеги теляткам в загон бросил, они молоденькие, растут, и среди ночи пожуют в удовольствие. Фрося–Ляйсан подошла, прижалась:

– Истосковалась я вся, пятидневку одна.

Ты пожалел, приобнял:

– Пристала с хозяйством-то?

Фрося шутя оттолкнула:

– Не от работы, а от тоски по тебе сил нет. Вот приехал, и на душе легко стало.

Ты погладил её округлый живот:

– Как он там? Шевелится?

Фрося засмеялась:

– Наверно, вместе с тяткой сено косит, и руки и ноги в ходу.

Ты доволен:

– Работающий парень будет.

Фрося опять засмеялась:

– А если девка? Что, и любить не будешь?

Ты уверенно сказал:

– Парень, сын у нас будет, это я точно знаю. Ладно, покорми меня, да в деревню съездим.

– На ночь-то глядя? – удивилась Фрося?

Ты ушёл от ответа:

– У нас дело такое, что надо бы потемну, так спокойней.

Наскоро перекусив, ты запряг в дрожки Карего, который окончательно обленился и бежал неохотно, но раскачался, и к деревне подлетел на рысях. Тихим шагом подъехали к пустой избушке Саво-

сихи, ты завёл коня в раскрытую ограду, Фросе велел сидеть в кошёвке. Вынул из-под травы лопату и стал копать. Глубоко же зарыл дед Максим свой горшок. А, может, и нет ничего, пригрезилось, вот и возомнил. Но лопата склацала обо что-то твёрдое, ты встал на колени, нашарал горшок, с обеих сторон освободил и вынул из земли. Как-то жутковато стало: через покойного про клад узнал. Ты перекрестился, разбил глиняную замазку на горлышке, сунул руку и захватил горсть монет. Отставил в сторону находку, яму засыпал, щепками и травой закидал.

– Лавруша, чегой-то ты нашёл? – шёпотом встретила Фрося.

– Потом, – шепнул ты и выпятил дрожки вместе с Карим из ограды, прыгнул в кошёвку и стеганул лошадь. Выдохнул, когда из деревни выехали, остановился, вынул из горшка в коленях горсточку монет, чиркнул спичку. Фрося ахнула. Задул спичку, ссыпал монеты обратно. Не обманул дед Максим, точно золотые монетки.

Дома нашёл укромное место, зарыл горшок, Фросе указал, рассказал про зубного врача, на всякий случай.

Утром к дому подкатила «полуторка», из кузова выпрыгнули два милиционера, ты вышел на встречу. Фросе успел сказать, что в деревню ездили свой домик посмотреть, так говорить надо.

– Гражданин Акимушкин?

– Так точно, я и есть.

Милиционер улыбнулся:

– Это я тебе письмо привозил из райкома. А мы с тобой и раньше встречались, когда вы за братцем приезжали. Помнишь? А сегодня твоя очередь. За убийство троих человек, а больше всего за Бейбула, ты арестован и будешь обвиняться.

Ты не испугался и спокойно объяснил:

– Я их убил вперёд, а чуть трухни – меня бы застрелили и жену мою. А она в положении. Видал, сколько жизней? Мне знающий человек говорил, что это была оборона самого себя и родных.

Милиционер опять улыбнулся:

– Тот знающий человек арестован и проходит как враг народа и вредитель. Письмо-то я вскрыл, и правильно сделал, доложил, кому следует, а то Гиричев мог скрыться от правосудия, он, оказыва-ется, уже знал, что разоблачён. Короче, собирайся.

Фрося заревела в голос, ты обнял её и успокаивал:

– Не плачь, сын вместе с тобой плачет, перестань. Меня не посадят в тюрьму, разберутся, что нет тут вины, и отпустят. Если задержусь, сходи к мулле, он поможет.

И уже шепотом, чтоб только она слышала:

– А если что – попрошу Ляйсан, чтобы она меня вызвала и улечу, не видать им меня в оковах.

Милиционер не переставал улыбаться, а второй молчал, безучастно глядел на тебя и Фросю. Ты собрал в платок булку хлеба, шматок конины копчёной, рукотерт, обнял Фросю и залез в кузов.

Следователь, молодой человек в красивой форме, записал твой рассказ о нападении бандитов на усадьбу Естая Тайшенова, о твоей жестокой расправе. Потом неожиданно спросил:

– В каких отношениях вы были с бывшим секретарем райкома Гиричевым?

Ты ответил с гордостью:

– В сродственных, он мне дядей доводится, да к тому же крёстный отец.

Следователь записал.

– О чём вы говорили, какие поручения он вам давал?

Ты удивился:

– Об чём говорили? Про свою семью, про жизнь. А поручал он мне беречь здоровье, всё хотел к путним докторам отправить, да я не соглашался.

Следователь возмутился, стукнул в стол кулаком:

– Ты мне дурака не валяй, здоровье он поручал. Я тебя спрашиваю, может, скот травить или механизмы из строя выводить – вот какие поручения!

Давно с тобой так не разговаривали, да и смешно слушать, что крёстный скот травил. Пришлось сказать:

– Гражданин следователь, Савелий Платонович крестьянин, он и сам в молодые годы хозяйствовал, как он может отравить безвинную скотину? Если кто и сказал такое, то либо по глупости, либо по злему умыслу.

Следователь ударил тебя кулаком в лицо, ты едва не упал с табуретки. Вынул платок, вытер кровь, сквозь слезы посоветовал:

– Вы, гражданин следователь, по голове меня не бейте, у меня фронтовое ранение, полчерепа снесло, там только кожица тонкая и мозги рядом. А зачем вы мне вопросы про крёстного? Я думал, за убитых бандитов допрос будет, но тут у меня оборона самого себя и семейства, закон на моей стороне.

Следователь крикнул:

– Конвой!

В комнату вошёл милиционер:

– Уведи этого дурака. А ты думай, что скажешь про Гиричева, чем больше скажешь, тем меньше срок получишь за убийство. Понял?

Ты кивнул:

– Как не понять? Значит, Бейбул правду сказал, что мне отомстят за его смерть друзья-товарищи. Как же так, гражданин следователь, Эти Естай Тайшенов отдал родине двух сынов и трёх дочерей, у него медалей и орденов полное блюдо. А приходит бандит Бейбул, убивает отца героев, и он же прав? Так советская власть не диктует.

Следователь покраснел, крикнул конвоиру:

– Уведи его и всыпь, как следует, только по голове не бей, говорит, у него там черепа нет. Ты проверь.

Конвоир толкнул тебя к двери, повёл коридором, перед камерой остановил:

– Этот татарин убитый – правда отец Ляйсан Тайшеновой?

Ты кивнул.

– Я воевал в той дивизии, где она погибла, в газете писали. Ты не бойся, бить я не буду, только ты говори что-нибудь про этого Гиричева, может, снисхождение выйдет.

Ты кивнул.

– Я тебя в одиночку закрою, чтоб никто не домогался, отдохнёшь.

Ты опять кивнул, спросил:

– А до ветру ночью водят?

– Нет, там ведро стоит, это параша. Но я скажу ночному дежурному, он хоть и сволочь, но мне обязан, – пообещал милиционер.

В камере понял, как сильно болит голова, видно, следователь шевелил что-то. Ты бросил на пустые нары свою куфайку, лёг на спину, положив руки под голову, и свалился в тяжёлое забытие. Сквозь боль и яркие всполохи в мозгу ты увидел дом Естая, ставший твоим, увидел Фросю, а потом и сам ощутил себя в пустоте, светлой и тёплой, которую всегда приносила Ляйсан. Она появилась издалека, и ты наблюдал её красивый полет, белый балахон не мог скрыть красоты её тела. Она приблизилась, обняла тебя, закружила, сказала:

– Лаврик, час пробил, это не в моей власти. Я очень хочу, чтобы ты был со мной, но Фрося и сын твой останутся сиротами, а сделать ничего нельзя. Твоя смерть говорит, что и так многое тебе позволила совершить на земле. Семью твою мы возьмем под своё покровительство, никто их не обидит. Я знаю твой план. Так и сделай. Я встречу тебя, любимый мой. Прощай.

Среди ночи ты проснулся, поел мяса с хлебом, остатки сунул в карман куфайки, оделся и постучал в дверь. Дежурный появился не скоро.

– Чего тебе?

– До ветру надо, живот болит.

Дежурный постоял, подумал:

– Вообще-то параша есть. Ладно, пошли.

Во дворе ты приостановился, шедший следом дежурный подошёл вплотную, ты ловко ударил его в шею, наклонился, чуть прижал жилку на шее, так учили разведчики. Милиционер притих. Ты перемахнул через забор за туалетом и побежал.

Утром та же «полуторка» подъехала к дому Естая, Фрося выбежала во двор. Три милиционера выскочили из кузова.

– Где муж?

Фрося испугалась:

– Так вы же вчера забрали...

– Он убёг. Ребята, обыщите дом и все клетушки.

Фрося присела на чурку посреди двора:

– Куда он сбежал? Зачем? Он же ни в чём не виноват. Не ищите, не приходил он домой.

Старший подошел вплотную:

– Где он может быть? В деревне его тоже не нашли. Куда он мог податься? Говори!

Фрося заулыбалась:

– Я поняла. Он улетел.

Старший оторопел:

– Куда? На чём улетел?

Фрося улыбнулась и спокойно ответила:

– Улетел к Ляйсан, туда. – Она чуть подняла голову к небу. – А на чём? Ни на чём. Они летают просто так, как вот вы ходите.

Старший присмотрелся, кивнул:

– За дураков нас держишь? Так и знай, найдём – ему крышка. Он и милиционера нашего чуть не задушил. Все равно найдём.

Фрося поднялась с чурки, уже спокойная и уверенная:

– Никогда не найдёте.

Старший спросил подошедших милиционеров:

– Ляйсан – это кто?

– Дочь хозяина этого дома, которого Бейбул зарезал. Она погибла на фронте, и сёстры её и братья – все погибли.

– А почему она говорит, что Акимушкин к ней улетел? Это как понимать?

Милиционеры пожали плечами.

Старший не унимался:

– Вот она беременна, скоро родит, муж пропал в неизвестном направлении, а она лыбится. Не с ума ли спрыгнула?

Фрося слышала весь разговор, подошла ближе:

– Ты за меня не переживай, начальник, у меня от чистых и святых сил теперь защита будет, а ум мой какой был, такой и остался, как любила своего Лаврика, так и буду любить. И зовусь не просто Фрося, а Фрося–Ляйсан, она сама с небес дала на то согласие.

Старший ещё раз огляделся и скомандовал отъезд.

Фрося улыбалась и плакала, Ляйсан уже шепнула ей, что Лаврик ушёл от легионеров и скоро душа его будет рядом, а потом они будут приходить к ней и нянчить общего родного ребенка.

Уходящая машина растворилась в воздухе, и табун красивых лошадей во главе с любимой кобылой Ляйсан уже мчался навстречу Фросе...

